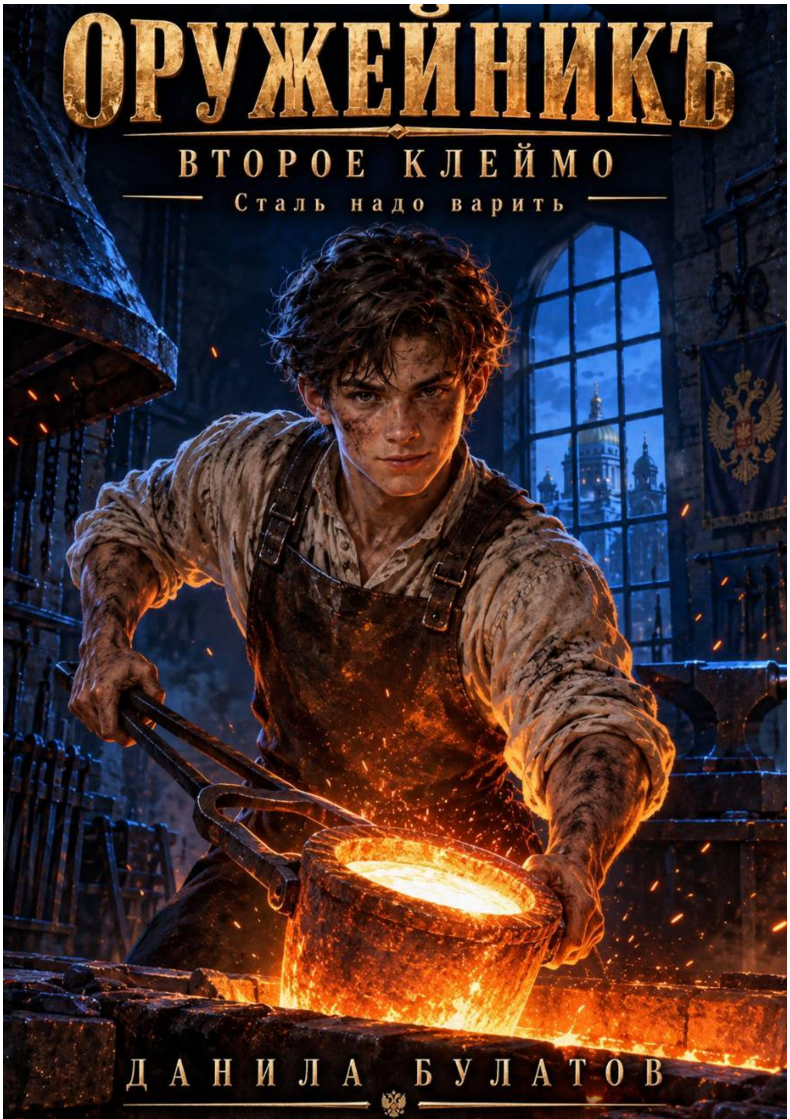

ОРУЖЕЙНИКЪ
ВТОРОЕ КЛЕЙМО
Сталь надо варить
ДАНИЛА БУЛАТОВ

Данила Булатов

Оружейникъ. Второе клеймо

Серия «Оружейникъ», книга 2

https://litres.ru/74742738
SelfPub; 2026

Аннотация

Я взял третье клеймо и первый казённый заказ за сорок один год — и узнал, сколько это стоит. Двести одинаковых наконечников, семь месяцев у горна и ни единицы роста.

А порог второго клейма — сто шестьдесят. У меня сто двадцать, и выше кованая сталь не идёт.

Значит, сталь надо не ковать. Варить.

В Петербурге собирают комиссию о правилах пробы. Там будет поверщик, который мне поверил, и ротмистр с журналом заставы за двенадцать лет. И дом, которого в этом деле быть не должно, — тот, что полтораста лет варит сталь в тиглях и никому об этом не рассказывал.

Его клинок стоит шестьсот рублей и держит сорок восемь минут. Казённый за восемнадцать, который я перекалил за одну ночь, держит пятьдесят восемь.

Теперь я знаю, кому в пятьдесят девятом понадобился жулик.

А ещё в этом городе одиннадцать дней прожил мой отец и на двенадцатый не вернулся за вещами.

Содержание

Глава 1. Четыре тысячи двести семнадцать 4
Глава 2. Подручный 12
Глава 3. Двести десять 20
Глава 4. Тигель 28
Глава 5. Одиннадцать процентов 38
Глава 6. Порог сто шестьдесят 46
Глава 7. Письмо из Петербурга 54
Глава 8. Девятьсот и сорок восемь 62
Конец ознакомительного фрагмента. 67

Данила Булатов
Оружейникъ.
Второе клеймо

Глава 1. Четыре тысячи двести семнадцать

Клеймо ставят один раз.

Это первое, что мне сказали в губернском отделении, когда выдавали плашку, и сказали не для красоты.

Клеймо ставится по нагретому, одним уда́ром, с подкладкой под изделие. Ударил косо — оттиск смазан. Смазанный оттиск есть порча клеймёного изделия, и штраф за него не маленький: смазанным клеймом можно прикрыть что угодно.

Поправить нельзя. Нельзя подбить, нельзя добить вторым ударом, нельзя зачистить и повторить: зачищенное место видно, и это уже подделка, а за подделку клейма каторга.

Один удар.

Я к первому своему удару готовился четыре дня.

Двадцатого сентября тысяча девятисотого года у меня на верстаке лежал первый наконечник казённого заказа.

Про верстак надо сказать отдельно, потому что он был новый.

Из четырёхсот сорока рублей заказа корпус выдал мне вперёд третью часть — сто сорок шесть рублей шестьдесят шесть копеек, и я эти шестьдесят шесть копеек помню, потому что держал в руках впервые в жизни такие деньги и пересчитал четыре раза.

Я потратил их за одиннадцать дней и потратил на железо.

Бочка конопляного масла — восемь рублей. Теперь мы калили в масле. Дед первую неделю ходил вокруг этой бочки и, я думаю, ночью к ней выходил.

Двадцать пудов хорошего полосового железа и шесть пудов рессорного лома. Сорок один рубль.

Тридцать пудов древесного угля. Девятнадцать рублей.

Второй мех, ножной, и новый горн, собранный у нас же во дворе из кирпича, который дед возил шесть дней.

Напильники. Тиски с двумя губками. Клещи шести видов вместо двух. Наковальня — не новая, купленная в Туле у вдовы кузнеца, сто двенадцать фунтов, с целым рогом.

И деревянный ящик с замком, а в ящике, в войлоке, плашка.

Наконечник был готов с утра.

Пакет из девяти складываний с подсыпкой костяной крошки. Ковка по шаблону, который я вырезал из жести: перекладина, втулка, лезвие в пять вершков. Цементация четыре часа. Закалка в масле. Двойной отпуск при двухстах

восьмидесяти, при двух свечах, потому что фонарь к утру желтеет.

Жар я положил сам, своей ладонью, и это было в четырнадцатый раз в жизни, и я уже знал, что после этого надо полчаса посидеть.

Померил.

Ёмкость восемьдесят шесть. Утечку снял за сутки — пятнадцать процентов.

На приборе, который я собрал по памяти с того, что мы с Чагиным сколотили на заставе, — сорок пять минут.

Казённая рогатина третьего сорта по уездному подряду дома Тулиных держит девять.

Клеймение я устроил торжественно, и мне до сих за это немного стыдно.

Я протопил новый горн, выгреб, подмёл, вынес из мастерской всё лишнее и позвал деда.

Дед пришёл, посмотрел на подметённый пол и сказал:

— Ну-ну.

Я нагрел наконечник до тёмно-красного — это шестьсот с небольшим, и по тёмно-красному оттиск садится чисто, а металл ещё не ведёт. Положил на подкладку, в заранее проточенное углубление, чтоб не качнулся.

Взял плашку клещами.

И у меня задрожала рука.

Я сорок два года прожил инженером и восемь месяцев кузнецом, и я бил молотком тысячи раз, и у меня в тот мо-

мент задрожала рука, потому что удар был один.

— Петька, — сказал дед.

— Что?

— Дыши.

Я выдохнул.

Поставил плашку. Проверил, что стоит плоско. Убрал левую руку.

Ударил.

Оттиск сел чисто.

Я смотрел на него через увеличительное стекло, которое купил в Туле за восемьдесят копеек и которое оказалось лучшей покупкой из всех.

Четыре, два, один, семь. И две буквы отделения.

Цифры стояли ровно, донизу, без завала и без двоения. Края оттиска были чёткие — значит, температура была та.

Я положил стекло и сел на чурбак.

Дед взял наконечник, поднёс к окну и рассматривал долго.

Потом он сделал то, чего я совсем не ждал.

Он положил его на верстак, вытер руки о фартук, вышел в сени и вернулся с двумя чашками и бутылкой, которой у нас в доме не было никогда.

— Дед, мне шестнадцать.

— Это тебе, — сказал он и поставил передо мной чашку с водой. — Это мне.

Он налил себе, выпил, поставил.

— Сорок один год, — сказал он.

Больше он в тот день ничего не говорил.

Теперь про то, из-за чего эта глава вообще написана.

Вечером я сел считать.

Я считал не для удовольствия. Я считал потому, что двадцатого сентября у меня было в работе двести наконечников, а срок по заказу стоял первого июня.

Двести пятьдесят три дня.

Я взял тетрадь и расписал один наконечник по часам, честно, по тому, как делал этот.

Пакет. Девять складываний, с крошкой при каждом. Девять нагревов до сварочного жара, протяжка, рубка, сварка. Одиннадцать часов на пакет, из которого выходит заготовка на три наконечника.

Ковка. Перекладина, втулка, лезвие, подгонка по шаблону. Пять часов на один.

Цементация. Четыре часа в коробке под крошкой, и ещё три на растопку, разогрев и остывание.

Закалка и двойной отпуск. Шесть часов, из них четыре — ожидание, в которое можно делать другое.

Жар. Полминуты и полчаса сидеть.

Проба. Ёмкость сразу, утечка сутки, и сутки эти изделие должно лежать в покое, то есть по-хорошему нужно два ящика и очередь.

Клеймение. Четверть часа, из них десять минут — успокоить руку.

Я сложил и разделил, и с учётом того, что часть работы

идёт внахлёст — пока одно остывает, другое греется, — у меня вышло, что в хороший день я кончаю один наконечник, а в месяц делаю около тридцати.

Двести наконечников — это шесть месяцев и три недели.

Срок мне это закрывало. Я укладывался, и даже с запасом в пять недель на то, что обязательно пойдёт не так.

Я посмотрел на эту цифру и понял, что она значит, и мне стало холодно.

Шесть месяцев и три недели.

Всё это время я буду делать одно и то же изделие третьего сорта, двести раз подряд.

Восемьдесят шесть единиц. Восемьдесят шесть. Восемьдесят шесть. Двести раз.

Я к июню не сделаю ни одной вещи, которая была бы хоть на единицу лучше той, что лежит сейчас на верстаке.

Порог второго клейма — я спрашивал Чагина ещё в Туле — сто шестьдесят единиц при утечке не выше двенадцати.

У меня сто восемнадцать было один раз, на заставе, из казённого старья, в июле. Это мой предел, и я его знаю: пакет из девяти складываний даёт около ста двадцати и выше не идёт, потому что складывать больше нельзя, а меньше не нужно.

До ста шестидесяти мне не хватает сорока двух единиц, и взять их мне нечем. Для этого нужна другая сталь, а чтобы искать другую сталь, нужны месяцы, в которые ты не кладёшь по наконечнику в день.

Я сидел над тетрадью и писал одно и то же:

Заказ — четыреста сорок рублей. Это больше, чем род заработал за сорок один год.

Заказ — двести одинаковых изделий третьего сорта.

Заказ — семь месяцев, в которые я не двинусь ни на единицу.

Дед вышел в мастерскую в одиннадцатом часу и застал меня над тетрадью.

— Ты чего?

— Считаю.

— Чего считаешь?

Я объяснил. Я объяснил коротко: двести штук, тридцать в месяц, семь месяцев, и за эти семь месяцев я останусь там, где стоял в июле.

Дед слушал, сидя на своём чурбаке, и ковырял палкой в золе нового горна, который ему, по-моему, нравился больше, чем мне.

— Петька, — сказал он, когда я кончил. — Ты вот что скажи. Заказ брать было надо?

— Надо.

— Почему?

— Потому что четыреста сорок рублей, и потому что это первый казённый заказ роду за сорок один год, и потому что отказаться — значит сказать корпусу, что я говорю больше, чем делаю.

— Ну, — сказал дед. — Стало быть, не считай, а работай.

Он поднялся.

— Я тебе одно скажу, — сказал он у дверей. — Я сорок лет делал двадцать девять и думал, что это я. Ты за год вышел на сто восемнадцать. Поделай семь месяцев восемьдесят шесть, ничего с тобой не сделается.

Он ушёл.

Он был прав, и я это знал, и всё равно сидел над тетрадью до второго часа, потому что меня держала не арифметика.

Меня держало вот что.

Заключение Чагина лежит в Петербурге с декабря. Опаринский журнал лежит там же. Три отказа Фомы Данилыча — там же.

А прецедент по делу сто семнадцать дробь восемь стоит сорок один год и будет стоять дальше, и, пока он стоит, Палата всякому, кто придёт говорить о методике, покажет его и закроет разговор.

И единственный человек в империи, у которого есть и числа, и прибор, и своё клеймо, следующие семь месяцев будет делать двести одинаковых наконечников по два двадцать.

Глава 2. Подручный

Вопрос был такой: что именно считает статья третья.

Она говорит: жар держится лишь в том, что сделано одной рукой от первого удара до последнего. Я знал на своём опыте, что это правда: в ноябре прошлого года одиннадцать замков, которые я начинал, а дед доковывал, дали сорок шесть, а двенадцатый, скованный мною одним, — пятьдесят два.

Но у меня в работе был не замок.

У меня был пакет.

Пакет — это не изделие. Это заготовка: кусок полосы, сваренный из девяти слоёв, из которого потом выйдет наконечник. Пока ты его варишь, ты не делаешь наконечник. Ты делаешь материал.

И вот вопрос: считает статья третья удары по пакету или только те, что по изделию?

Если считает — я семь месяцев делаю всё сам и успеваю тридцать в месяц.

Если не считает — пакеты варит дед, а я только кую, калю и кладу жар.

Спрашивать было некого. В своде этого нет. У Чагина я спрашивал в сентябре письмом, и он ответил через три недели, и ответ был честный: «В положениях о пробе сего не разъяснено. Разъяснение Палаты по сему предмету мне неизвестно».

Значит, надо было мерить.

Опыт я поставил первого октября, и поставил так, как меня в мае научил Чагин: чтобы можно было повторить и проверить.

Одна связка полосового железа, из одной партии, купленная в один день.

Два пакета. Оба девять складываний, оба с крошкой при каждом, оба на одном горне, в один день, при одном угле.

Первый сварил я.

Второй сварил дед — весь, от первого удара до последнего, я к нему не касался и даже мех не качал, качал Мишкин младший брат, которого я позвал за гривенник.

Потом из каждого пакета я сделал по наконечнику. Сам. Целиком. По одному шаблону, одной ковкой, одной цементацией, одной закалкой, одним двойным отпуском.

Жар положил сам, в один вечер, подряд.

И померил.

Первый — восемьдесят шесть при пятнадцати.

Второй — восемьдесят шесть при пятнадцати.

Я померил по второму разу, потом по третьему, потом поставил оба на прибор и прогнал.

Сорок пять минут. Сорок пять минут.

Разницы не было никакой.

Я сидел над этими двумя наконечниками и записывал, и то, что я записал, стоит привести целиком, потому что из этой записи через девять месяцев вышло всё.

Два наконечника из двух пакетов. Пакеты варили разные люди. Изделия ковал и жар кладу один я.

Числа одинаковые: 86 и 86, утечка 15 и 15, минут 45 и 45.

Значит, статья третья считает удары по изделию, а не по материалу.

Значит, вещь начинается не тогда, когда ты взял железо. Вещь начинается тогда, когда ты начал делать из железа её.

Где эта граница — в своде не написано.

Я тогда подчеркнул последнюю строку и подумал, что это просто удобное для меня толкование.

Я не понимал, что держу в руках.

Деду я объяснил утром, и объяснил неловко, потому что подбирал слова и от этого выходило хуже.

— Дед. Выходит, что пакеты можешь варить ты.

— Я и варю.

— Нет, я про то, что их будешь варить только ты. Все. И заготовки рубить. И уголь, и кость, и масло, и древки. А я буду ковать, калить и клеймить.

Дед стоял у нового горна, который он сам сложил из кирпича, который сам возил шесть дней.

— Стало быть, я у тебя в подручных, — сказал он.

Вот этого я не сообразил заранее, и за это мне стыдно до сих пор.

— Дед...

— Да погоди ты, — сказал он. — Я не в обиде. Я считаю.

Он сел на чурбак.

— Петька, — сказал он. — Мне семьдесят один год. Я мастер третьего клейма с восемьдесят третьего года, и клейма у меня нет с пятьдесят девятого, потому что оно родовое. У тебя клеймо личное, и ты по нему можешь держать подручных на всё, в чём нет жара.

— Могу.

— Вот и всё, — сказал дед. — Я у тебя в подручных. Это ничего. Это даже смешно.

Он помолчал.

— Ты одно пойми. Я не потому согласен, что ты мне внук. Я потому согласен, что ты в прошлом году при сорока свидетелях на тульском торгу показал двадцать четыре минуты против восьми, а я сорок лет делал двадцать девять и не знал, что это не я.

Он взял с верстака один из двух наконечников и повертел.

— Мне до смерти хочется поглядеть, сколько ты вытащишь, — сказал он. — Я из-за этого и живу теперь.

Дальше я расскажу про то, как это считается, потому что это и есть суть главы.

Было тридцать наконечников в месяц, и держалось оно на том, что всё делаю я.

Стало вот что.

Дед варит пакеты. У него на пакет уходит одиннадцать часов, как и у меня, но он варит их подряд, по два в день с четырёх утра, потому что встаёт он в четыре всю жизнь. Из пакета — три заготовки. Два пакета в день — шесть заготовок.

Мне на заготовку остаётся ковка, цементация, закалка, отпуск, жар и клеймо.

Ковка — пять часов. Цементация идёт в коробке сама, пока я ковку второго. Закалка и отпуск — четыре часа ожидания, в которые я кую третий.

Я сел и расписал день по часам, внахлёст, как расписывают загрузку участка, и у меня вышло два наконечника в день при хорошем дне.

Сорок восемь в месяц.

Двести наконечников — четыре месяца и неделя.

Я считал это трижды и трижды получал одно. Потом пошёл и показал деду, и дед посчитал на пальцах и сказал:

— Выйдет.

— Это к февралю.

— К февралю, — сказал дед.

Четыре месяца вместо семи.

Два месяца и три недели, в которые я могу искать другую сталь.

Пошло оно, разумеется, не сразу.

Первую неделю мы друг другу мешали. Горн был один новый и один старый, и старый был хуже, и мы оба хотели на новый. На второй день дед сварил пакет, в котором на седьмом складывании пошло расслоение, и мы потеряли день и четверть пуда железа, и он молчал до вечера.

На четвёртый день я запорол ковку: повёл втулку и стал править, и правил полтора часа, и в итоге зарубил заготовку

в лом.

На шестой мы поругались из-за угля.

А на девятый день всё встало.

Это, честное слово, похоже на то, как встаёт горн, когда ты наконец понял его тягу.

Я утром взял готовую заготовку, нагрел, и у меня в руках было ровно то, что надо. В коробке грелась вторая, в масле остывала третья, за стеной дед варил четвёртый пакет, и к обеду я поставил клеймо на шестнадцатый наконечник заказа.

К концу октября их было сорок три.

Селиверстов приехал четвёртого ноября.

Я его не видел с марта, с той прогулки под липами у училища, и за эти восемь месяцев я вырос, получил клеймо и взял казённый заказ, а он не изменился ни на вершок.

То же суконное пальто. Тот же ящик. То же приятное лицо.

Он снял картуз, перекрестился на образ, поздоровался с дедом за руку и попросил позволения посмотреть работу.

Я дал.

Он смотрел четверть часа, и смотрел как человек, который двенадцать лет стоит на складе: брал наконечник, вертел, щёлкал ногтем по лезвию, смотрел на оттиск клейма через собственное стекло, которое вынул из кармана.

— Четыре тысячи двести семнадцать, — прочёл он.

— Моё.

— Я знаю, — сказал Селиверстов. — Я в июле в Туле был, когда вам выдавали. Я к Степану Нестерову заходил по своим делам и видел в книге.

Он положил наконечник.

— Пётр Андреич, работа хорошая. Я вам это говорю приёмщиком, по должности. Оттиск чистый, втулка сидит, перекладина не ведёт. Я бы такую принял без разговора.

— Благодарю.

— Сколько у вас готово?

— Сорок три.

— За полтора месяца?

— За сорок пять дней.

Селиверстов постоял.

— Это сорок три в сорок пять дней, — сказал он. — Это, Пётр Андреич, около тридцати в месяц, а у вас в деле один мастер и один подручный семидесяти лет.

Он посмотрел на меня.

— У меня на тульском дворе двести рук. У меня на рогатинные наконечники стоит артель из девяти человек, и они дают четыреста в месяц.

— А держат девять минут, — сказал я.

— А держат девять минут, — согласился Селиверстов, не поморщившись.

Он завязал тесёмку на ящике и сел.

— Я к вам не по заказу, — сказал он. — И не торговаться. Я к вам с бумагой.

Он достал из ящика конверт, и конверт был казённый, с печатью, и я его узнал по виду, потому что такой же приходил мне в октябре девяносто девятого года.

— Это что? — сказал я.

— Это копия, — сказал Селиверстов. — Подлинник в Палате, в вашем деле, и вам его объявят своим порядком, недели через две, когда дойдёт из Петербурга. Я вам привёз копию, чтоб вы знали раньше и чтоб не вышло, будто дом сделал втихую.

Он положил конверт на верстак.

— Прочтите сейчас, при мне, — сказал он. — Я отвечу на вопросы, какие смогу. Потом я уеду и больше вам этого не предложу.

Я взял конверт.

Дед от горна смотрел на нас и не двигался.

— Иван Поликарпович, — сказал я. — Скажите словами.

Селиверстов поправил картуз на колене.

— Дом Тулиных внёс в казну двести десять рублей, — сказал он. — Четырнадцатого октября. Доплату до полного разряда за ваше обучение в Императорском оружейном училище.

Глава 3. Двести десять

Бумага была короткая.

ПАЛАТА КЛЕЙМ. Отделение Тульское.

Кречетову, Петру Андрееву, мастеру третьего клейма, по книге четыре тысячи двести семнадцать.

Объявляется, что дом оружейный Тулиных внёс в казну, октября 14 дня 1900 года, двести десять рублей — доплату за обучение Ваше в Императорском оружейном училище до полного разряда.

Внёсших двое: Отдельный корпус пограничной стражи — девяносто рублей, дом Тулиных — двести десять.

По силе Устава о мастерстве с жаром место обязательной службы определяется Палатою по представлению внёсшего, а при двух и более внёсших — по представлению внёсшего большую сумму.

Определение будет вынесено по истечении трёх месяцев со дня внесения, то есть января 14 дня 1901 года.

Я прочёл это два раза и положил на верстак.

За стеной дед сгребал золу и сгребал её так тихо, как не сгребают.

— Иван Поликарпович, — сказал я. — А если я скажу, что я уже не обучаюсь?

— Вы и не обучаетесь, — согласился Селиверстов. — Вы освобождены от курса, потому что получили разряд. По

Уставу разряд отменяет курс, это верно.

— Значит, обучение кончено.

— Кончено, — сказал он. — И обязательство началось. Там же, в той же статье: «с обязательством прослужить по окончании десять лет в месте, определяемом Палатою по представлению внёсшего».

Он подвинул ко мне бумагу обратно.

— По окончании, Пётр Андреич. Вы окончили в июле. Десять лет идут с июля девятисотого года по июль девятьсот десятого.

Я сел на чурбак и некоторое время смотрел на наконечник, который лежал на верстаке с утра и который я не успел заклеймить.

Я эту строчку нашёл сам.

В октябре девяносто девятого года, в этой самой мастерской, пристав по моей просьбе достал серую книжку и прочёл вслух:

«Вносится в казну домом оружейным, либо иным ведомством, имеющим в том надобность, с обязательством прослужить по окончании десять лет в месте, определяемом Палатою по представлению внёсшего».

Я тогда вцепился в пять слов — «либо иным ведомством, имеющим надобность» — и они меня спасли от десяти лет у Тулиных.

А дальше в той же строке стояло «по представлению внёсшего», и я эти три слова прочёл и не услышал.

В строке не написано «внёсшего первым». Не написано «внёсшего при поступлении». Не написано «внёсшего единожды».

Там написано: внёсшего.

Я это понял в марте, под липами, когда Селиверстов мне это объяснил и был очень доволен собой. Я тогда отказался и поехал в июне на границу, и вернулся с клеймом, и восемь недель жил так, как будто тот разговор был угрозой, которая не сбылась.

А он не угрожал. Он сообщал, как всегда.

Он просто подождал до октября.

— Зачем вы ждали? — спросил я.

Селиверстов посмотрел на меня с некоторым уважением, как смотрят на ученика, который задал правильный вопрос.

— Потому что в марте вы были воспитанник ремесленного класса с припиской «к пробе не допускать», — сказал он. — Двести десять рублей за такого — дорого. Дом бы не дал.

— А теперь?

— А теперь вы мастер третьего клейма шестнадцати лет, у которого на заставе Серая Падь шесть казённых клинков первого сорта дали пятьдесят восемь минут вместо двадцати одной, и это записано в донесении, которое прошло через интендантское управление.

Он развёл руками.

— Теперь двести десять — это дёшево, Пётр Андреич. Я просил у дома пятьсот и мне дали двести десять, потому что

больше по закону не нужно: нужно только больше, чем внёс корпус.

— То есть дом заплатил не за меня. Дом заплатил на сто двадцать один рубль больше корпуса.

— Именно так, — сказал Селиверстов. — Это, если угодно, самое обидное в деле. Вас не покупали за двести десять. Вас перебили на сто двадцать один рубль.

Он уехал в пятом часу, и перед тем, как сесть в тележку, сказал две вещи.

Первая:

— Заказ ваш дом трогать не будет. Я вам это говорю от себя, но я это и устрою: четыреста сорок рублей от корпуса мы вам отбивать не станем, потому что по этому заказу вы работаете на границу, а дому с корпусом ссориться незачем. Делайте спокойно до февраля.

Вторая:

— А в январе приедет определение. Место службы вам укажут Палата по нашему представлению, и представление я напишу сам, и напишу вам хорошее: тульская мастерская дома, отдельный горн, железо без счёта, жалованье сорок рублей в месяц.

Он надел картуз.

— Сорок рублей в месяц, Пётр Андреич. Это четыреста восемьдесят в год. Это больше, чем весь ваш казённый заказ, и это каждый год десять лет подряд.

Он сел в тележку.

— И я вам ещё одно скажу, напоследок. Я у дома служу двенадцать лет и знаю, чего дом хочет. Дом не хочет вас запереть. Дом хочет, чтоб то, что у вас в голове, случилось у нас, а не у Златоустовых.

Считал я до ночи и потом ещё два дня.

Выход первый: корпусу доплатить.

Чтоб представление писал Опарин, а не Селиверстов, корпусу надо внести больше двухсот десяти. То есть ещё сто двадцать один рубль.

Вся корпусная смета на обучение одарённых — сто двадцать рублей в год на всю империю, на восемнадцать бригад. Это Опарин мне сказал в декабре девяносто девятого, и я эту цифру помню, как своё имя.

Ста двадцати одного рубля у корпуса нет, и просить их Опарину негде: смета на девятьсот первый год утверждается в декабре, и в ней будет те же сто двадцать.

Выход второй: внести самому.

У меня по заказу четыреста сорок рублей, из них сто сорок шесть уже выданы вперёд и прожиты на железо, уголь и наковальню. Остальные двести девяносто три я получу по сдаче, то есть в феврале.

Двести одиннадцать рублей у меня в феврале будут.

Но определение выносят четырнадцатого января.

И это ещё не главная беда.

Главная вот какая: в Уставе сказано, что плата вносится домом или ведомством за того, «род коего внести её не в

состоянии». Про то, чтобы обучаемый внёс за себя сам, — не сказано.

Не сказано, что можно. Не сказано, что нельзя.

Я эту строку перечитал двадцать раз и каждый раз получал одно: в Уставе предусмотрено, что за тебя платят. Что ты платишь за себя, в нём не предусмотрено вовсе, потому что писали его для детей, у которых нет своих денег.

А ещё там написано «вносится», а не «вносилось», и это значит, что речь про уплату до обучения.

Обучение я кончил в июле.

Выход третий, и он меня держал всю ночь четвёртого ноября.

Положим, внести за себя можно. Положим, Палата это разрешит.

Чем я внесу?

Четыреста сорок рублей казённого заказа. То есть деньгами Отдельного корпуса пограничной стражи.

Я возьму у корпуса четыреста сорок рублей за наконечники и отдам из них двести одиннадцать в казну, чтобы Палата определила меня служить корпусу.

И выйдет, что корпус за меня заплатил дважды: девяносто рублей в октябре девяносто девятого и ещё двести одиннадцать своими же деньгами в январе девятисотого.

Я записал это в тетрадь так:

Я могу выкупить себя у Тулиных деньгами Опарина, не сказав ему, что это его деньги.

Это законно и это подло.

Потом ниже:

Или я могу сказать ему прямо: ваше высокоблагородие, корпус заплатит за меня второй раз, и заплатит из тех денег, которые дал за наконечники для своих же застав.

И он согласится. Он поручился за меня службою в июне, он согласится и на это.

И поэтому сказать ему я не могу.

Деду я всё объяснил на другой день, в мастерской, с тетрадью.

Он выслушал и довольно долго молчал.

— Петька, — сказал он. — Тебе сколько надо?

— Двести одиннадцать.

— А когда?

— К четырнадцатому января. По-хорошему — к первым числам, чтоб бумага дошла.

Дед встал, ушёл в избу и вернулся с тряпичным кошелём, и я узнал его сразу: тот самый, который он выложил на верстак в октябре девяносто девятого года, когда в нём было одиннадцать рублей сорок копеек, собранных за восемь лет.

Он развязал тесёмку и выложил на верстак.

Двадцать три рубля восемьдесят копеек.

— С августа, — сказал он. — Лыков по рублю берёт, я по шести в месяц делаю.

Я смотрел на эти монеты, разложенные столбиками, потому что по-другому он не умел.

— Дед, надо двести одиннадцать.

— Знаю, — сказал он. — Это чтоб ты видел, что я тоже считаю.

Он сел.

— Петька, — сказал он. — Я тебе одно скажу и больше про это говорить не буду.

— Говори.

— Если выйдет так, что надо ехать к Тулиным, — ты поедешь.

Я поднял голову.

— Ты поедешь, — повторил дед. — Десять лет — это не сорок один. В тридцать шесть лет ты оттуда выйдешь, и ты за эти десять лет у них там такого наделаешь, что они сами тебя попросят уйти.

Он показал пальцем на тетрадь.

— А вот это ты не бросай. Это ты в тетрадь пиши и прячь. Отец твой то же самое держал в голове и в Тулу повёз в голове, и в голове оно и пропало.

Он помолчал.

— Я не про клеймо. Клеймо у тебя есть. Я про то, чтоб после тебя осталось записанное.

Глава 4. Тигель

К пятнадцатому декабря наконечников было сто двадцать два, и у меня появились вечера.

Вечера я потратил на то, чтобы упереться в стену и в неё постучать.

Стена была такая: пакет из девяти складываний даёт мне сто двадцать единиц и выше не идёт.

Я это проверил четыре раза, прежде чем поверить. Я варил пакет в девять складываний из лучшего железа, какое мог купить, с крошкой при каждом складывании, калил в масле, отпускал дважды при двухстах восьмидесяти, — и получал сто восемнадцать, сто двадцать, сто семнадцать, сто двадцать одну.

Десятое складывание уносило углерод быстрее, чем крошка его приносила. Одиннадцатое давало мягкую дрянь.

Порог второго клейма — сто шестьдесят.

Мне не хватало сорока единиц, и взять их из пакета было нельзя.

Я сел и стал думать не про то, как складывать лучше, а про то, зачем я складываю.

Я складываю, чтобы раздробить шлаковые строчки. Строчка — это тонкая прожилка неметалла, которая при ковке вытягивается вдоль волокна. В дрянном железе их много и они длинные.

Складывание рубит их на обрывки: семь складываний дают сто двадцать восемь слоёв, и строчка в вершок становится ста двадцатью восемью обрывками в волос.

А обрывки остаются.

Их становится больше и они короче, но они есть, и каждый из них — путь, по которому жар выходит толчком.

Я пакетом не убираю строчки. Я их мельчу.

И вот тут я вспомнил декабрь прошлого года, подвал ремесленного класса и сломанный сестрорецкий пробойник, который я разбирал два вечера.

В нём не было ни строчек, ни слоёв.

Я тогда записал: «Её не просто хорошо калили. Её хорошо получили». И год не понимал, что написал.

Строчек в стали не бывает только в одном случае: если сталь была жидкой.

Я проверил себя на том, что знал.

Железо в этом веке получают не расплавленным. Его получают тестообразным, из руды, в куче со шлаком, и эту кучу проковывают, выжимая шлак наружу. Выжимается он не весь, и остаток — это и есть строчки. Поэтому они у всех.

Жидкая сталь строчек не имеет: шлак в расплаве всплывает и остаётся сверху, а под ним стоит однородный металл.

Железо плавится около тысячи пятисот тридцати, сталь с углеродом — ниже градусов на сто-полтораста. Горн на древесном угле с хорошим дутьём даёт тысячу четыреста, иногда полторы, если закрыт и мех работает без устали.

То есть на пределе возможного и всё-таки возможно.

Я записал:

Сталь надо не ковать. Сталь надо варить.

Тигли я лепил сам и испортил на этом три недели, и правильно, что испортил.

Тигель — это горшок, в котором сталь стоит расплавленной часа два при полутора тысячах. Обыкновенная глина при этом течёт.

Смесь я сделал такую: треть жирной глины, треть песка, треть толчёного черепка от битых горшков, которые скупил у трёх баб по две копейки за ведро. Черепок — это уже обожжённая глина, она при новом нагреве не садится, и без неё тигель трескается при сушке от неравномерной усадки.

Вылепил шесть: стенка в полвершка, дно вдвое толще, высота в четыре вершка.

И сушил их двадцать один день.

Это была самая трудная часть всего дела, и не потому, что трудно. Потому что ничего нельзя делать, а можно только ждать: сырой тигель в огне лопается, и лопается он не тихо.

Первую неделю они стояли в сенях. Вторую — в избе у печи, но не на печи. Третью — на печи.

Потом я их обжёг в горне, медленно, подымая жар четыре часа.

Два лопнули при обжиге. Четыре вышли.

Печь я сложил в углу двора, и это была яма.

Аршин глубиной, обложена кирпичом, решётка на дне,

поддув от второго меха через глиняную трубу, сверху крышка из обмазанного глиной железного листа с отверстием под гляделку.

Весь смысл в крышке. Открытый горн тепло выпускает вверх, закрытая яма его держит, и жар в ней поднимается выше при том же угле и том же дутье.

Мех качал дед. Сначала он сказал, что я спалю двор, потом посмотрел, как я вмазываю трубу, и принёс ещё кирпича.

Шихту я собрал такую.

Основа — обрезки моей же пакетной стали. Это важно, и я это записал сразу: я варил не из руды и не из чугуна. Я варил из того, что уже было сталью, и задача была только одна — расплавить её и дать ей отстояться.

Углерод — мелкий древесный уголь, толчёный и просеянный, щепоть на фунт. При плавке часть углерода выгорает, и его надо дать с избытком.

Флюс — бой бутылочного стекла, толчёный. Стекло при полутора тысячах жидкое, оно собирает шлак и всплывает, накрывая расплав шапкой, и под этой шапкой металл не горит от дутья.

Я это не придумал. Про бой стекла мне в июле сказал Шумилин, у которого на заставе паяли им чугунные казаны, и он сказал это между прочим, и я записал, потому что записываю всё.

Первая плавка. Двадцать второго декабря.

Тигель лопнул на третьем часу.

Он лопнул по стенке, вертикально, и всё, что в нём было, вылилось в угли, и из ямы вышел такой свет, что я его потом видел, закрывая глаза, часа два.

Пожара не случилось, потому что обкладка была кирпичная, а двор по декабрю мокрый.

Причина: я поставил тигель холодным в горячую печь. Нельзя. Тигель надо вводить в жар вместе с печью, с самого начала, и подымать вместе с ней.

Дед пришёл на свет в одной рубахе и постоял над ямой.

— Это чего было?

— Тигель лопнул.

— Я слышал. Я думал, стена.

Он посмотрел на зарево в яме, на мои четыре оставшихся горшка, стоявшие в сенях, и спросил то, что спросил бы любой человек, который считает деньги:

— Сколько пропало?

— Четыре фунта стали. Тигель. Полпуда угля.

— А горшков сколько осталось?

— Три.

Дед подумал.

— Петька. А ты лепи ещё.

— Они три недели сушатся.

— Так ты лепи сегодня, — сказал дед. — Три недели всё равно пройдут, хоть лепи, хоть не лепи. А через три недели у тебя или будут горшки, или не будет.

Он ушёл спать, а я до четырёх утра лепил ещё шесть.

Записал.

Вторая плавка. Двадцать седьмого декабря.

Тигель выдержал, сталь расплавилась — я это увидел через гляделку, и это стоило всех трёх недель: в горшке стояла блестящая, подвижная, выпуклая лужа, и она шевелилась от дутья.

Я продержал её час и вынул.

Слиток вышел с пузырями.

Я его разрубил и увидел внутри пустоты, мелкие и круглые, как в плохом хлебе. Такая сталь под молотком расходится по пустотам, и ковать её бессмысленно.

Причина: газы. Расплав, который только что встал, ещё полон пузырей, и они должны выйти наверх, а на это нужно время. Часа мало.

Записал:

Держать после расплавления не меньше двух часов. Пузыри всплывают сами, но медленно.

Третья плавка. Второго января.

Я держал два часа и получил спёкшийся комок.

Понял не сразу: третью плавку я вёл на свежем угле, привезённом перед Рождеством, и уголь был сыроватый. Сырой уголь даёт меньше жара, потому что часть его уходит на воду. У меня в яме стояло, видимо, тысяча триста пятьдесят: для ковки много, для плавки мало. Сталь слиплась и не потекла.

Записал:

Уголь только сухой, лежавший в тепле не меньше недели. Жар на глаз не отличишь: разница в сто пятьдесят градусов на этом уровне глазом не видна.

Четвёртая плавка. Седьмого января тысяча девятьсот первого года.

Тигель ввёл в печь холодным, вместе с печью. Поднимал жар пять часов.

Уголь взял старый, с сентябрьской покупки, который лежал в сарае и был сухой как порох.

Мех качал дед, и качал он четыре часа подряд, и я его дважды пробовал подменить, и он дважды меня отогнал.

Расплав встал в начале одиннадцатого вечера.

Я продержал его два часа с четвертью.

Потом мы закрыли поддув, заложили гляделку и ушли спать, и печь остывала всю ночь сама, потому что литую сталь нельзя выхватывать на холод: она от этого трескается внутри.

Слиток я вынул утром восьмого января.

Он был похож на лепёшку с неровным верхом, фунта четыре весом, серый, с коркой застывшего стекла по краю, и эту корку я отбил молотком.

Потом я отрубил от него кусочек и сломал.

Я сидел на корточках у наковальни и смотрел на излом, наверное, минут десять.

У пакетной стали излом слоистый. Если вглядеться, видно линии — очень мелкие, в сто двадцать восемь слоёв, но

видно.

У лома излом с рваными строчками.

У пережога — крупный и блестит, как сахар.

Здесь не было ничего.

Излом был ровный, мелкий, плотный, шелковистый, одинаковый по всей площади, без единой линии, без единой прожилки, без направления.

Я такой излом видел один раз в жизни, в декабре прошлого года, в подвале ремесленного класса, на сломанной пятке сестрорецкого пробойника.

— Дед, — сказал я. — Иди посмотри.

Дед пришёл, взял обломок, поднёс к окну и повернул.

Он смотрел на него дольше, чем я.

— Это что ж, — сказал он наконец. — Это как у сестрорецких.

— Это как у сестрорецких.

— Ты его видел?

— Один раз. В декабре, в училище. Пробойник сломанный, я его два вечера разбирал.

Дед повернул обломок к свету ещё раз.

— А я не видел никогда, — сказал он. — Семьдесят лет кую. Я про сестрорецкую сталь слышал, что она как зеркало на сломе, и не верил.

Он положил обломок на верстак и вытер руки, хотя они были чистые.

— Петька, — сказал он. — Ты эту яму не ломай.

— Зачем бы я её ломал?

— А я не знаю, — сказал дед. — Ты в декабре печь сложил во дворе, и я думал, перебесится и разберёт на кирпич. Я теперь говорю: не ломай. Я в ней свет видел.

Ковать литую сталь надо осторожно, и это я знал заранее и всё равно чуть не испортил.

Литой слиток внутри однороден, но он никогда не ковался: зерно в нём крупное, выросшее при медленном остывании, а крупное зерно хрупко. Ударь как по полосе — треснет.

Поэтому его обжимают: греют до светло-жёлтого, около тысячи ста, и бьют часто и слабо, по всей площади, поворачивая. Зерно под молотом дробится, и с каждым нагревом сталь позволяет бить сильнее.

Три нагрева я бил вполсилы. С четвёртого пошло нормально.

Клинок я ковал двенадцатого января, одиннадцать вершков, по описи прадеда, потому что мне так нравится.

Закалка в масле. Двойной отпуск при двухстах восьмидесяти, при двух свечах.

Жар положил сам.

Померил вечером двенадцатого.

Я поднёс мерник, досчитал до десяти и наклонился к костяной шкале.

Потом выпрямился, вытер стекло, наклонился снова.

— Сколько? — сказал дед из-за спины.

Я не ответил, потому что считал по одной единице, как

читают цифру в документе, который придётся защищать.

— Сто тридцать одна, — сказал я.

Утечку я снимал сутки, в ящике, и всю ночь просыпался.

Утром тринадцатого января вышло одиннадцать процентов.

На приборе — семьдесят одна минута.

Я сел на пол мастерской, прислонился к верстаку и некоторое время просто сидел.

Пакет из девяти складываний давал мне сто двадцать при шестнадцати и сорок пять минут.

Первая удачная плавка в глиняном горшке, который я три недели сушил на печи, дала сто тридцать одну при одиннадцати и семьдесят одну минуту.

Прибавка в одиннадцать единиц — это немного. Я за прошлый год брал по тридцать.

Но утечка упала с шестнадцати до одиннадцати, а время выросло с сорока пяти до семидесяти одной, и это значило, что дело не в прибавке.

Дело в том, что я впервые в жизни сделал сталь, в которой нет путей.

Глава 5. Одиннадцать процентов

Сначала про одиннадцать процентов, потому что это оказалось важнее ста тридцати одной.

Прибавка в ёмкости была скромная: со ста двадцати до ста тридцати одной. Я за прошлый год брал по тридцать за полгода и успел к этому привыкнуть.

А утечка упала с шестнадцати процентов до одиннадцати. Это треть.

Я сидел над этими числами тринадцатого января и выписывал всё, что знал, и вот что у меня сошлось.

Утечка — это сколько жара уходит из вещи, пока она лежит в покое. Я год считал, что утечка и отдача под нагрузкой — две разные вещи, и считал так потому, что Палата мерит одну и не мерит другую, а я с Палатой спорил.

Выходит, что они одно и то же, только на разной скорости.

Жар выходит по путям. Под нагрузкой его выгоняют, и он идёт по путям толчками. В покое никто его не гонит, и он сочится по тем же путям сам, медленно.

Убери пути — упадёт и то, и другое.

Я записал:

Утечка и отдача — одна дырка, померенная двумя способами.

Палата мерит утечку, то есть она всё-таки мерит пути. Только мерит их в покое, где разница между хорошей сталью

и дрянной невелика, и поэтому ничего не видит.

Потом я посмотрел на эту строку и понял, что написал нечто неприятное.

Я год говорил: проба мерит не то.

А она мерит то. Она мерит правильную вещь неправильным способом, и это совсем другое обвинение, и защищаться от него Палате куда труднее.

Второе я сообразил на другой день и сообразил через таблицу сортов, которую знаю, как молитву.

Третий сорт: ёмкость от сорока, утечка до двадцати процентов.

Второй сорт: ёмкость от ста двадцати, утечка до двенадцати.

У моего клинка сто тридцать одна при одиннадцати.

Сто тридцать одна больше ста двадцати.

Одиннадцать меньше двенадцати.

Я сел на чурбак и сказал вслух одно слово.

У меня на верстаке лежало изделие второго сорта.

А я мастер третьего клейма.

Разряд мастера — это не звание за доблесть. Это право ставить клеймо, и право ограниченное: мастер третьего клейма клеймит изделия до третьего сорта включительно и ни единицей выше.

Моя плашка номер четыре тысячи двести семнадцать на этот клинок поставлена быть не может.

А неклеймёное изделие с жаром нельзя продать, нельзя

ввезти в Пограничье и нельзя иметь при себе. Это я знаю наизусть, и знаю не из книжки: в апреле прошлого года я получил за это выговор с внесением в дело и запрет носить при себе изделия с жаром, под расписку.

Я взял свод и читал его часа два, и выходило три дороги, и все три были плохие.

Первая. Подать клинок к пробе в Палату. Палата померит, подтвердит второй сорт, поставит на него своё клеймо — и изделие, по правилу о вещах, сделанных сверх разряда, поступит в казну с уплатой мне стоимости материала.

Стоимость материала. Четыре фунта пакетной стали, уголь и бой стекла. Рубля три.

Мою первую литую сталь у меня купят за три рубля и положат в Палату, которая сорок один год держит мой род прецедентом.

Вторая. Испортить.

Это, как ни странно, совершенно законно и очень просто. Я беру клинок, нагреваю его до синего с переходом в серо-синий, то есть выше трёхсот двадцати, выдерживаю — и сталь мягчеет.

Ёмкость упадёт единиц на десять, утечка подрастёт процента на три. И у меня в руках будет честное изделие третьего сорта, которое я могу заклеймить своей плашкой и продать за два двадцать.

Я могу своими руками сделать свою лучшую вещь хуже, чтобы иметь право ею владеть.

Третья. Молчать.

Положить его в войлок, убрать в ящик с замком и не показывать никому до того дня, когда у меня будет второе клеймо.

Над третьей дорогой я просидел полночи, и мне за эту полночь не стыдно, потому что я её честно обдумал.

Соблазн был сильный, и сильный он был по понятной причине: я не собирался этот клинок ни продавать, ни возить на границу, ни носить при себе. Я его сделал, чтобы померить. Он лежал бы в ящике, и никто бы не узнал.

Кто бы узнал? Дед. Всё.

И я вспомнил двенадцатое сентября, Тулу, коридор губернского отделения, лавку, на которой я сидел с выпиской из дела прадеда на коленях.

И вспомнил второе: подводу под Челябинском, Чагина с портфелем на коленях и мои же слова про то, что домашний мерник прадеда завышал на шестую часть.

Я тогда отдал единственное, что у меня было против дела, и отдал сам, и Чагин вписал это в заключение отдельным пунктом.

И сказал мне то, что я с тех помню дословно: «Вы, может быть, не понимаете, что вы сделали. Теперь ваше заключение можно читать».

Весь мой вес в этом деле — это то, что я говорю первым.

Это единственное, чего у меня не могут отнять ни Тулины с двумя тысячами рук, ни Сестрорецкие с их девятьюста-

ми единицами, ни Палата со своим прецедентом. Я говорю раньше, чем спросят, и поэтому мне верят.

Стоит это один раз спрятать — и в марте, когда Палата возьмётся за заключение Чагина, кто-нибудь спросит: а не держал ли мастер Кречетов у себя неклеймёного?

И держал.

Я встал и пошёл писать письмо.

Письмо я писал пять раз и отправил шестое, заказным, четырнадцатого января утром.

В Тульское отделение Палаты клейм, господину поверщику Чагину.

Объявляю, что января 12 дня сего года изготовил клинок, в котором по промеру домашним мерником вышло: ёмкость сто тридцать одна единица, утечка одиннадцать процентов.

Прибор мой пломбы не имеет, числа мои за измерение не почитаю и прошу поверить казённым.

Если числа подтвердятся, изделие выйдет второго сорта, то есть выше моего разряда. Клейма на него я не ставил и не поставлю.

Изделие лежит у меня в мастерской, в ящике, и я его не продаю, не вожу и при себе не ношу. Прошу указать, куда его представить.

Способ изготовления: сталь плавлена в глиняном тигле из обрезков пакетной стали, с углем и боем стекла, держана в расплаве два часа с четвертью, остужена в печи. Описание плавки прилагаю на трёх листах, со всеми четырьмя попыт-

ками, из коих три неудачны.

Мастер третьего клейма, по книге 4217, Кречетов.

Три листа с описанием плавки я приложил нарочно.

Я к тому времени уже понимал одну вещь про бумаги, и понимал её от Фомы Данилыча Златоустова, который в июне сузил свою заявку сам.

Способ, который ты описал в казённой бумаге и послал заказным, украсть уже нельзя. Можно подать на него заявку раньше тебя — но в деле у Палаты будет лежать твоё описание с датой на штемпеле.

Я потерял пакетную сварку в мае, потому что рассказал её за столом, вдвоём, без бумаги.

Тигель я отдал в казённую переписку в тот же день, как он у меня вышел.

Дед, когда я ему объяснил, сказал одно слово:

— Отдашь?

— Если скажут отдать — отдам.

— За три рубля.

— За три рубля.

Он постоял.

— Петька, — сказал он. — А если сломать? Отпустить его, как ты говоришь, чтоб помягчел, и будет твой третий сорт, и клейми себе.

— Я думал.

— И что?

— А то, что я тогда год буду помнить, что у меня была сто

тридцать одна, а я её сам испортил, потому что побоялся.

Дед кивнул.

— Ну-ну, — сказал он.

Потом подумал и добавил:

— А варить-то ты ещё будешь?

— Буду.

— Так свари ещё, — сказал дед. — Этот отдашь, а следующий будет сто сорок. Чего ты над ним сидишь.

Я на него посмотрел и понял, что он опять прав, и что в этом вся разница между нами: я считаю, что у меня один клинок, а он считает, что у меня есть печь.

Ответ Чагина пришёл двадцать третьего января.

Он был короткий и в нём было три пункта.

Первый: изделие представить в отделение не позже первого февраля, а до того держать в ящике и не касаться.

Второй: он приедет сам, с казённым прибором, и поверит на месте, чтобы не возить неклеймёное по тракту.

Третий был не про клинок.

Описание плавки получено, прочтено и в дело приобщено под нумером, с отметкою дня получения — января 17.

Пётр Андреев, скажу вам от себя. В Палате сей способ числится за домом Сестрорецких, и числится около полутораста лет, и у них он есть не описание, а семейное обыкновение, которого они не оглашали никогда.

Вы же в семнадцать лет описали его в казённой бумаге на трёх листах, со всеми тремя неудачами.

Я вас поздравляю и прошу быть осторожным.

Я прочёл это, сидя на крыльце, в двадцать градусов мороза, без шапки.

Семнадцать мне исполнилось двадцатого сентября, через полторы недели после того, как я получил клеймо, и мы с дедом про это забыли оба и вспомнили в октябре, когда считали дни по заказу.

И ещё я прочёл во второй раз третий пункт.

Я год считал Сестрорецких эталоном, по которому мерю себя, — дом, который делает мало, дорого и лучше всех, и чей пробойник я разбирал два вечера в подвале, и чьему излому я завидовал.

Выходило, что я вечерами в декабре, не зная того, лез в единственную вещь, которую этот дом держит при себе полтораста лет.

И выходило, что я уже успел положить её в казённую переписку.

Глава 6. Порог сто шестьдесят

Чагин приехал тридцатого января, на обывательских, в шубе поверх сюртука, с тем же портфелем и с казённым ящиком.

Он вошёл в мастерскую, огляделся, увидел новый горн, два меха, наковальню со целым рогом, бочку масла и яму в углу двора под обмазанным листом — и остановился.

— Это печь? — сказал он.

— Это печь.

— Покажите.

Я показал. Он смотрел четверть часа и спрашивал по делу: про толщину стенки тигля, про сушку, про то, как вводится тигель, про уголь, про бой стекла.

Потом сказал:

— Пётр Андреев, вы понимаете, что у вас во дворе стоит?

— Яма с крышкой.

— У вас во дворе стоит плавильная печь, — сказал Чагин. — В посаде на сто сорок дворов, в Тульской губернии, у мастера третьего клейма.

Клинок он поверил в тот же день, при деде, с внесением в книгу.

Распломбировал прибор, поднёс, считал до десяти вслух, как положено.

— Сто тридцать один, — сказал он.

Утечку снимали сутки, в его ящике, под его пломбой, в избе, потому что в мастерской холодно и Чагин сказал, что перепад может дать погрешность.

Утром тридцать первого января:

— Одиннадцать процентов.

Он записал, посыпал песком и некоторое время молчал.

— Второй сорт, — сказал он. — По обоим числам, с запасом: ёмкость на одиннадцать выше нижней границы, утечка на один процент ниже верхней.

Он закрыл книгу.

— Вы сделали изделие второго сорта.

— Я знаю.

— А клеймить его не имеете права.

— Я знаю, — сказал я. — Куда его представить?

И вот тут он сделал то, из-за чего я эту главу и пишу.

— Никуда, — сказал Чагин.

Я не понял.

— Пётр Андреев, — сказал он. — Правило о вещах, сделанных сверх разряда, применяется к изделиям. То есть к тому, что мастер сделал на продажу или в обиход.

Он достал из портфеля мою собственную бумагу — то письмо, которое я отправил заказным четырнадцатого января.

— Вы в своём объявлении написали: «не продаю, не вожу и при себе не ношу». И приложили три листа описания плавки, с тремя неудачами.

Он положил письмо на верстак.

— Это не изделие. Это опыт. И у меня с декабря в производстве дело о пересмотре правил пробы, по которому я сам докладываю, а вы по нему числитесь лицом, на котором поверялось.

Он взял перо и показал на бумаге.

— Я приобщу клинок к этому делу как опытный образец, с описанием способа, и оставлю его вам под расписку как хранителю. Он не будет клеймёным изделием. Он будет вещественным доказательством по делу Палаты.

Я стоял и считал, что он сейчас для меня сделал.

— Степан Нестеров, — сказал я. — Это вы придумали или это так бывает?

— Это бывает, — сказал Чагин. — Образцы по делам хранятся у поверщиков, у заводов, у заявителей. Это обыкновенная практика, просто её никто не применяет к частным мастерам, потому что частные мастера не ведут дел в Палате.

Он подвинул ко мне расписку.

— Если бы вы его спрятали, я бы ничего сделать не мог, — сказал он. — А вы его объявили сами, за два дня до того, как он у вас стал второго сорта по моему прибору.

Он помолчал.

— Я вам в сентябре сказал, что самое неприятное в вас — что вы считаете вперёд. Я беру слова обратно. Самое неприятное в вас — что вы говорите первым, и из-за этого с вами невозможно поступить по букве.

Потом он объяснил цену входа, и это была вторая половина разговора и худшая.

— Вы хотите второе клеймо, — сказал Чагин.

— Хочу.

— Тогда слушайте порядок, и слушайте внимательно, потому что в нём три замка.

Он загнул палец.

— Замок первый. Порог. Разрядная проба на второе клеймо требует ёмкости не ниже ста шестидесяти единиц при утечке не выше двенадцати процентов.

— Сто шестьдесят, — сказал я.

— Сто шестьдесят, — повторил он. — У вас сегодня сто тридцать одна. Не хватает двадцати девяти.

Второй палец.

— Замок второй. Срок. К пробе на второе клеймо допускаются не ранее трёх лет со дня получения третьего. Вы получили третье двадцать девятого июля девятисотого года.

Я посчитал.

— Июль девятьсот третьего.

— Июль девятьсот третьего, — сказал Чагин. — Вам будет двадцать.

Третий палец.

— Замок третий, и он единственный, который открывается. Устав допускает сокращение срока по представлению Палаты за особые заслуги в оружейном деле.

— Кто представляет?

— Палата, — сказал Чагин. — Не отделение. Не поверщик. Палата, в Петербурге.

— Степан Нестеров, — сказал я. — А ваше заключение?

Чагин снял очки, протёр и надел.

Я к тому времени знал его почти год и видел его в двух состояниях: спокойным и очень спокойным. Это был третий раз.

— Моё заключение по опытной поверке на заставе Серая Падь, — сказал он, — вместе с журналом заставы за двенадцать лет, с тремя отказами дома Златоустовых и с моим предложением о пересмотре правил пробы отправлено в Палату второго декабря девятисотого года.

— И?

— И ничего, — сказал Чагин.

Он сложил руки.

— Я получил уведомление о поступлении двенадцатого декабря. Я написал повторно восьмого января, спрашивая о движении дела. Я получил ответ двадцать второго: «дело находится в рассмотрении».

— Это сколько обычно?

— Дело такого рода рассматривается от двух месяцев до двух лет, — сказал Чагин. — Разброс не от важности. Разброс от того, кому оно легло на стол.

Он посмотрел на меня.

— Пётр Андреев, я вам скажу то, чего по службе говорить не должен. Я четвёртый год в губернском отделении и восемь

лет в Палате всего, и я не знаю, кто в Петербурге держит это дело и держит ли кто-нибудь. Может быть, оно просто лежит. В Палате пятнадцать тысяч дел в год.

— А может быть, и нет.

— А может быть, и нет, — сказал Чагин.

Третье он сказал уже в сенях, одеваясь, и сказал нехорошо: быстро и не глядя.

— И последнее. Определение по вашей службе вынесено.

Я стоял с его шубой в руках.

— Четырнадцатого января? — сказал я.

— Четырнадцатого января, — сказал Чагин. — Подлинник придёт к вам из отделения своим порядком, недели через две. Я вам объявлю словами, потому что иначе вы узнаете это от приказчика дома, а это хуже.

Он взял шубу.

— Палата определила: место обязательной службы мастера третьего клейма Кречетова — тульская мастерская дома Тулиных, по представлению внёсшего большую сумму. Срок службы десять лет. Явиться к первому марта тысяча девятьсот первого года.

В сенях было холодно, и я стоял и смотрел на дверную скобу, которую сам сделал в ноябре.

— Тридцать дней, — сказал я.

— Тридцать дней, — сказал Чагин.

— Степан Нестеров. По закону тут есть что-нибудь?

Он застёгивался и отвечал по пунктам, как привык.

— Оспорить определение можно, — сказал он. — Основание одно: неправильное применение Устава. Оно применено правильно, я сам смотрел трижды. Внёсших двое, дом внёс больше, представление дома, определение по представлению. Ошибки нет.

— Внести самому?

— Я про это запрашивал Палату пятнадцатого января, по своей воле, — сказал Чагин. — Ответ пришёл двадцать седьмого. Внесение платы самим обучаемым Уставом не предусмотрено, а по окончании обучения тем более; разъяснений Палаты по сему предмету не имеется.

— То есть не запрещено.

— То есть нет порядка, по которому это сделать, — сказал Чагин. — Нет формы, нет графы в книге и нет чиновника, который возьмёт у вас двести одиннадцать рублей и выдаст квитанцию. Вы не можете внести деньги, которых казна не умеет принять.

Он надел шапку.

— Пётр Андреев, я вам не утешитель. Я скажу, как вижу. По бумагам вы с первого марта работник дома Тулиных на десять лет, и бумаги эти правильные.

Он взялся за скобу и остановился.

— А по делу вы единственный человек в империи, у которого есть литая сталь, своё клеймо, прибор и двести наконечников для границы. И вот этого ни в одной бумаге не написано.

Он уехал, и я вернулся в мастерскую, и дед сидел на чурбаке и всё слышал через дверь, потому что дверь у нас тонкая.

— К Тулиным, — сказал он.

— С первого марта.

Дед кивнул.

Он встал, подошёл к верстаку, где лежала готовая за эту неделю дюжина, и постоял над ней.

— Сколько осталось доделать? — сказал он.

— Семьдесят восемь. Сто двадцать два готовы.

— К первому марта успеем?

Я посчитал в голове. Двадцать восемь дней, сорок восемь в месяц.

— Успеем с запасом в неделю.

— Ну и доделаем, — сказал дед.

Он взял веник и стал сметать с верстака окалину, и сметал её очень долго, хотя там почти ничего не было.

Глава 7. Письмо из Петербурга

Февраль мы прожили так, как живут люди, у которых есть срок.

Мы доделывали заказ.

Я не буду это описывать подробно, потому что описывать нечего: двадцать восемь дней, два наконечника в день, дед на пакетах с четырёх утра, я на ковке и термической, и к двадцать четвёртому февраля на верстаке стояли двести штук, пересчитанные трижды.

Про февраль я помню три вещи.

Первое: деду стало тяжело. Он варил пакеты десять недель подряд по два в день, и к февралю у него начала дрожать левая рука, и он это от меня скрывал, а я видел и молчал, потому что сказать значило остановить его.

Второе: я в феврале не варил ни одной плавки. Ни одной. Печь во дворе стояла под снегом, и я мимо неё проходил восемь раз в день.

Третье: девятнадцатого февраля пришло определение.

Подлинник был на хорошей бумаге, с орлом, и отличался от того, что сказал Чагин, ровно в одном месте: там было написано не «тульская мастерская дома Тулиных», а «мастерская дома Тулиных, по указанию дома».

То есть куда поставят.

Я его прочёл, положил в тетрадь прадеда — она к февралю

распухла от того, что я в неё складывал, — и пошёл ковать.

Это, если угодно, главное, чему я научился за полтора года в этом мире.

Когда у тебя срок и бумага, работай по сроку. Думать над бумагой будешь, когда сделаешь дневную норму.

Письмо из Петербурга пришло двадцать шестого февраля, за три дня до срока.

Почтарь принёс его вместе со вторым, от Опарина, и я вскрыл сначала опаринское, потому что его узнал по почерку.

Опарин писал коротко.

Пётр Андреев.

Дело о пересмотре правил пробы истребовано из Палаты в особую комиссию, учреждённую при Палате распоряжением от 11 февраля. Я о сём узнал вчера, по службе, из предписания бригаде о моей командировке.

Комиссия начинает работу 15 марта в Петербурге. Я вызван как представивший отчётность. Чагин вызван как поверщик. Вы вызваны третьим.

Ваше определение по службе сим приостанавливается: вызванный в комиссию Палаты не может быть отправлен к месту обязательной службы до окончания её работы. Это статья Устава, не милость. Я проверил дважды.

Выезжайте так, чтобы быть в Петербурге к 12-му. Жилья в столице я вам не достану, жалованья у меня на это нет. Возьмите денег.

Опарин.

Я прочёл это стоя в сенях, в полушубке, и перечитал четыре раза, и на четвёртый сел на лавку.

Определение приостанавливается.

Не отменяется. Приостанавливается — на столько, сколько будет работать комиссия.

Два месяца. Два года. Как ляжет.

Казённое письмо было длиннее и суше, и я его привожу почти целиком, потому что в нём стоит то, из-за чего эта глава написана.

ПАЛАТА КЛЕЙМ.

Кречетову, Петру Андрееву, мастеру третьего клейма, по книге 4217, посада Кречетово Тульской губернии.

Распоряжением от февраля 11 дня 1901 года при Палате учреждена Особая комиссия для рассмотрения вопроса о правилах пробы изделий с жаром и о способах измерения отдачи оных под нагрузкою.

Начало работ — марта 15 дня, в здании Палаты.

Вы приглашаетесь к участию в качестве лица, на изделиях коего производилась опытная поверка, с обязанностью явиться и давать объяснения.

Прогонные и кормовые не полагаются.

К участию в работах комиссии приглашены:

Председателем — действительный статский советник Юрьев.

От Палаты: поверщик Тульского отделения Чагин; повер-

щик Петербургского отделения Дробыш; член присутствия Палаты...

Дальше шло шесть фамилий, которых я не знал.

От Отдельного корпуса пограничной стражи: ротмистр Опарин.

От домов оружейных, имеющих в предмете интерес:

дом Златоустовых — именной мастер Златоустов, Фома Данилов;

дом Сестрорецких — именной мастер Ренне, Густав Карлов.

Я дочитал до этой строки и остановился.

Потом вернулся к началу списка и прочёл его целиком снова, медленно, по фамилиям.

Дом Тулиных в списке не стоял.

Дом Сестрорецких стоял.

Я сидел на лавке в сенях с двумя письмами на коленях и разбирал это по порядку, и разбирал долго, потому что оно не складывалось.

Кто в этом деле есть по существу.

Я — тот, на чьих изделиях поверяли.

Чагин — поверщик, который ставил опыт и писал заключение.

Опарин — двенадцать лет отчётности и журнал заставы.

Фома Данилыч Златоустов — три отказа Палаты своему дому за сорок один год, все с одной формулой и ссылкой на дело сто семнадцать дробь восемь. Он у нас в деле с июня, он

подлинники отдал сам, и его участие понятно до последней запятой.

Кого в деле быть должно и нет.

Дом Тулиных.

Это я считал три дня и каждый раз получал одно.

Если проба переменится и казна начнёт считать минуты, первым проигрывает дом Тулиных. Их первый сорт держит четырнадцать минут против двадцати одной у Златоустовых — это по журналу заставы за двенадцать лет, и это самая твёрдая цифра, какая у нас есть.

А доля их в поставках на границу выросла с четверти до двух третей, потому что они дешевле на четверть при равном сорте.

Переменится проба — они теряют казённый заказ.

У них две тысячи рук, подряды в четырнадцати уездах и приказчик, который двенадцать лет стоит на складе и знает всё раньше Палаты. Они за меня двести десять рублей внесли через три недели после того, как я получил клеймо.

И их в комиссии нет.

Кого в деле быть не должно и он есть.

Дом Сестрорецких.

Их не было ни в одной бумаге за год. Ни в заключении Чагина, ни в журнале Серой Пади — там за двенадцать лет восемь сестрорецких клинков, и все восемь выданы офицерам. Ни в трёх отказах Златоустовых. Ни в деле прадеда.

Они не поставляют на границу: за двенадцать лет восемь

штук. Они делают высший сорт для двора, по шестьсот рублей за клинок, десятками в год.

Какое им дело до того, как меряют рогатинные наконечники для Олонецкой губернии?

Я взял тетрадь и записал вопрос так, как записал бы его в прежней жизни в заключении по отказу:

В деле о пересмотре пробы отсутствует сторона, которой перемена грозит прямым убытком (дом Тулиных), и присутствует сторона, не имеющая в предмете видимого интереса (дом Сестрорецких).

Из двух этих странностей вторая важнее. Первую можно объяснить тем, что Тулины не захотели светиться. Вторую объяснить нечем.

И ниже, другой строкой:

Значит, у Сестрорецких есть интерес, которого я не вижу.

Деду я сказал вечером, за щами.

— Дед. Я еду в Петербург.

Он положил ложку.

— Когда?

— Шестого марта. Надо быть к двенадцатому, а ехать с пересадкой в Москве.

— А первое марта?

— Приостановлено, — сказал я. — Пока комиссия работает, Тулины меня тронуть не могут. Это в Уставе.

Дед долго молчал.

— Это насколько? — сказал он.

— Не знаю. Два месяца. Может, больше.

— А потом?

— А потом то же самое, если ничего не переменится.

Он кивнул.

Потом он сделал то, чего я от него совсем не ждал: встал, достал с полки деревянную солонку, высыпал из неё соль в тряпицу и вытряхнул на стол то, что лежало под солью.

Сорок два рубля.

— Дед.

— Это с августа, с Лыкова, — сказал он. — Двадцать три я тебе в ноябре показывал, с тех ещё набежало.

— Мне не на дорогу надо.

— Тебе надо в Петербурге жить, — сказал дед. — Опарин тебе написал, что жалованья у него на это нет? Я слышал, ты вслух читал.

Он сдвинул деньги ко мне.

— Петька. Ты там месяц проживёшь, а то и три. На хлебе и углу — рублей по пятнадцать в месяц, это если не барином. Четыреста сорок по заказу тебе отдадут не раньше, чем примут двести штук, а примут их в Туле, когда ты уже уедешь.

Он был совершенно прав, и я об этом не подумал ни разу.

— А ты как?

— А я тут, — сказал дед. — У меня Лыков, у меня шесть замков в месяц и шесть рублей. Мне семьдесят один год и мне надо щей.

Он собрал деньги в тряпицу и сунул мне в руку, и рука у

него дрожала, и на этот раз он не стал её убирать.

— Поедешь и будешь писать, — сказал он. — Каждую неделю. Я Кузьме гривенник дам, он мне прочтёт.

Глава 8. Девятьсот и сорок восемь

Вторую плавку я поставил двадцать седьмого февраля, на другой день после писем, и поставил её потому, что ехать в Петербург с одним клинком было нельзя.

Печь месяц стояла под снегом. Я её отогревал полдня, медленно, пустую, чтобы выгнать влагу из кладки, и всё равно на третьем часу из шва пошёл пар.

Переменил я в шихте две вещи.

Первая — углерод.

В первой плавке я давал его мелким древесным углём, щепотью на фунт, и он выгорал неровно: часть уходила с дутьём, часть не доходила до середины расплава.

Теперь я положил в шихту два старых напильника.

Напильник делают из стали, в которой углерода много — иначе зуб не держит. Он твёрдый, он хрупкий, он никуда больше не годится, когда затупился, и его выбрасывают.

Я купил шесть штук на тульском торгу у старьёвщика по пятаку.

Два разбил на куски и положил в тигель вместе с обрезками пакетной стали. Углерод из них переходит в расплав сам и переходит ровно, потому что это не порошок на стенке, а металл в металле.

Вторая — остывание.

В первой плавке я закрыл поддув и ушёл спать, и печь

остыла за ночь.

Теперь я заложил поддув глиной, замазал гляделку и накрыл крышку войлоком в три слоя.

Печь остывала двое суток.

Литой слиток при быстром остывании рвёт изнутри: наружу он застыл, внутри ещё горячий и садится, и в середине остаётся пустота или трещина, которой снаружи не видно. Чем медленнее, тем целее.

Зерно при этом вырастает крупное — это плохо, — но крупное зерно дробится потом ковкой, а внутреннюю трещину не исправить ничем.

Расплав встал в начале первого ночи двадцать восьмого февраля.

Я держал его три часа.

Дед качал мех первый час, потом я его отправил спать, и он не пошёл, а сел в углу двора на перевёрнутое ведро, в тулупе, и так и просидел до трёх.

— Дед, иди в избу.

— Я гляжу, — сказал он.

— На что тут глядеть? Крышка закрыта.

— В дырку гляжу, — сказал дед. — Ты мне стекло дал закопчёное, я и гляжу.

— Замёрзнешь.

— Я в тулупе.

Я качал мех и минут десять молчал, а потом всё-таки спросил, потому что мне было нужно это спросить.

— Дед. Тебе не обидно?

— Чего?

— Что я варю, а ты мех качаешь.

Дед не ответил сразу.

— Петька, — сказал он потом. — Мне семьдесят один. Мне обидно было в пятьдесят девятом, когда отца жуликом назвали. Мне обидно было в девяносто первом, когда Андрей не вернулся. Мне было обидно сорок лет подряд, что у меня двадцать девять и я не знаю отчего.

Он подвинулся на ведре.

— А мех качать не обидно. Мех — это работа. Ты вот качай и помалкивай.

Через гляделку в яме стояло белое. Не жёлтое, не оранжевое — белое с голубым, и смотреть на него можно было секунды через закопчённое стекло, которое я сделал из бутылочного донца.

Я потом много раз видел это и всегда вспоминаю ту ночь: семидесятилетний старик в тулупе на ведре в феврале, в четыре утра, смотрит в дырку в крышке, за которой стоит жидкая сталь.

Слиток я вынул второго марта.

Шесть фунтов. Серый, с коркой стекла, с чистым верхом.

Излом — такой же, как в январе: ровный, мелкий, шелковистый, без линий и без направления.

Дед взял обломок, посмотрел и отдал обратно.

— Этот лучше, — сказал он.

— С чего ты взял? На глаз они одинаковые.

— С того, что ты напильники положил, — сказал дед. — Напильник — сталь дорогая. В дешёвое железо дорогую сталь не кладут, а ты положил. Значит, лучше.

Он был прав, и прав по совершенно неправильной причине, и я ему этого не сказал.

Ковал я его четвёртого и пятого, по многу нагревов, с малыми обжатиями по первым трём, и выковал клинок в одиннадцать вершков и к нему, из остатка, маленький пробойник, который потом лежал у меня в кармане весь Петербург.

Закалка в масле. Двойной отпуск при двухстах восьмидесяти.

Жар положил сам.

Померил пятого вечером.

Сто сорок восемь.

Утечку снял к утру шестого — одиннадцать процентов.

На приборе — восемьдесят минут.

Я сел и записал обе плавки рядом, в две колонки, потому что иначе числа не говорят.

Первая: сто тридцать одна, утечка одиннадцать, семьдесят одна минута. Углерод углём, держал два часа с четвертью, остывание одна ночь.

Вторая: сто сорок восемь, утечка одиннадцать, восемьдесят минут. Углерод напильниками, держал три часа, остывание двое суток.

Семнадцать единиц прибавки за две переменённые вещи.

Утечка та же — одиннадцать. Это я записал отдельно и обвёл: утечка в литой стали упирается в одиннадцать и ниже не идёт, сколько ни держи. Значит, в тигле есть что-то, что даёт эти одиннадцать процентов и чего я пока не вижу.

До порога второго клейма — сто шестьдесят — не хватало двенадцати единиц.

Двенадцати.

В январе не хватало двадцати девяти, в начале марта — двенадцати, и я ехал в Петербург, где у меня не будет ни печи, ни горна, ни деда, ни тигля, ни единого фунта угля.

Теперь про Сестрорецких, потому что всю дорогу из Кречетова в Тулу я считал их.

Что я про них знал на шестое марта тысяча девятьсот первого года.

Они делают высший сорт. Высший сорт — это ёмкость от восьмисот единиц при утечке не выше двух процентов. В империи его ставят только они. Златоустовы дают первый, Тулины первый, Ижевские второй, высший — один дом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.